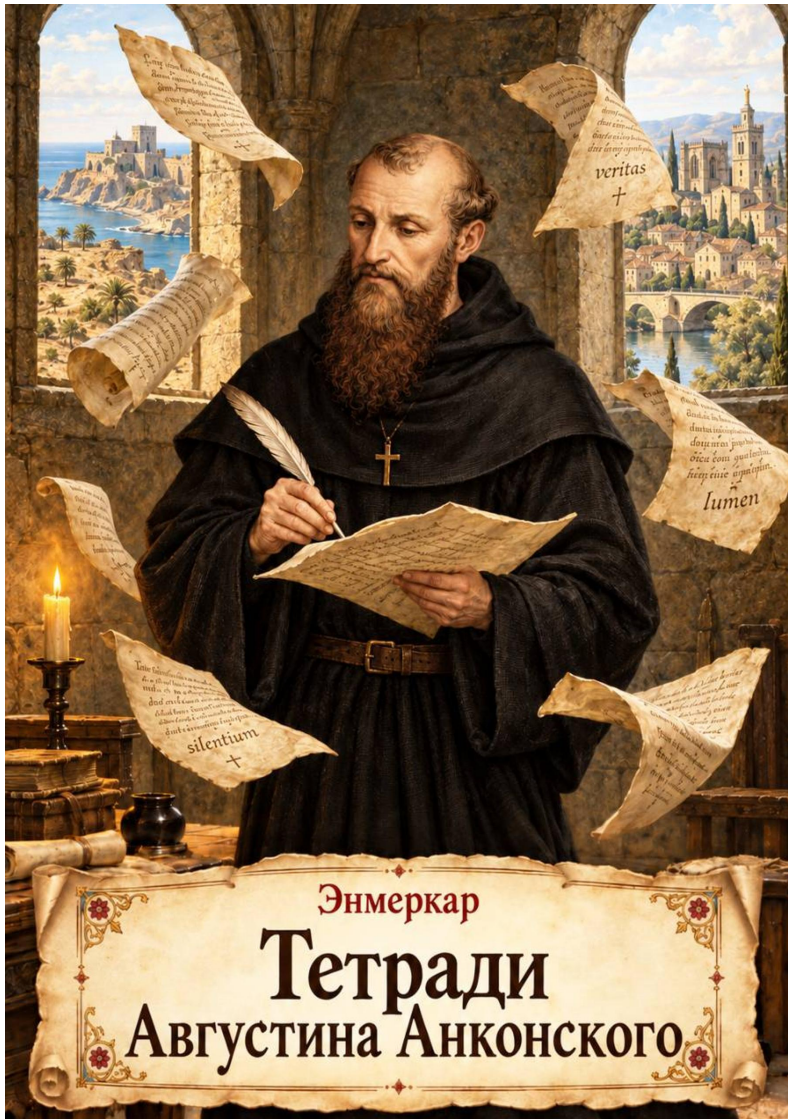




Энмеркар

# Тетради Августина Анконского

# Энмеркар Энмеркар

# Тетради Августина Анконского

*<https://litres.ru/74516539>*

*SelfPub; 2026*

## Аннотация

«Тетради Августина Анконского» — сборник историко-мистических рассказов, дополняющий книгу «Дороги Мага. Августин из Анконы». В основу рассказов легли воспоминания автора о своём прошлом воплощении — жизни Августина из Анконы, монаха, богослова и экзорциста начала XIV века.

От осаждённого Руада до подвалов Авиньона путь Августина пролегает через военные потрясения, запрещённые рукописи, тайны алхимии и встречи с необъяснимым. Служение Церкви приводит его к открытиям, которые не всегда укладываются в учение, призванное объяснять мир. За расследованиями и странствиями разворачивается внутренний поиск человека, вынужденного задуматься о границах собственного знания, цене послушания и ответственности за свои решения и молчание.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| К читателю                        | 4  |
| Скалы Руада                       | 5  |
| Ступени покаяния                  | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 77 |

# Энмеркар Тетради Августина Анконского

## К читателю

«Тетради Августина Анконского» дополняют книгу [«Дороги Мага. Августин из Анконы»](#). В основу рассказов легли воспоминания автора о своём прошлом воплощении — жизни Августина из Анконы. По мере того как в памяти восстанавливались события и переживания той жизни, автор записывал их. Постепенно из этих записей сложился настоящий сборник.

У каждого рассказа свой сюжет, однако вместе они продолжают историю внутреннего пути человека, чьи убеждения постоянно подвергаются испытанию. Августин исследует чужие тайны, защищает установленный порядок, выносит суждения — и постепенно обнаруживает вопросы, на которые его собственное учение не даёт ответа.

Некоторые события получают развязку. Другие остаются с ним на всю жизнь.

# Скалы Руада

Меня зовут Агостино Трионфи, я монах Ордена еремитов святого Августина, родом из Анконы. Учился в Падуе, принял там постриг и обеты, прошел курс богословия и канонического права — то обучение, которое Орден дает людям, предназначенным для дел более широких, нежели монастырская тишина. В 1299 году мне было двадцать пять лет, и за плечами у меня было достаточно учености, чтобы составлять письма на латыни, и недостаточно опыта, чтобы понимать, чего именно это учение стоит за пределами падуанских диспутов. В том же году Орден поручил мне сопровождать посольство к крестоносному гарнизону на острове Руад — клочке финикийской скалы в трех километрах от сирийского берега, у Тартуса. Поручение было скромным: исполнять обязанности капеллана при гарнизоне, вести переписку с Кипром и блюсти церковный порядок среди людей, оставшихся последними защитниками христианского присутствия на Востоке. Из Падуи это выглядело службой, достойной молодого человека с грамотами и рвением. С Руада, куда я прибыл осенью 1299 года и откуда вышел пленником в сентябре 1302-го, выглядело гораздо мрачнее. Нижеследующее есть рассказ об этих двух с лишним годах — о том, что я видел, слышал и думал на острове, где скалы честнее многих слов.

Остров Руад встретил меня камнем. Он был голой скалой, торчащей из моря, без единой пяди земли, без деревца, без источника. Поверх этой скалы люди в разные века клали другой камень — стены, башни, донжон, малый замок у гавани — и все это вместе было так плотно пригнано к породе, что издали остров казался единым сооружением, выросшим из морского дна. Я знал другой камень — анконский, белый, пористый, теплый от адриатического солнца, пропитанный запахом смолы и соли. Здешний камень был сложен в иную пору и для иных нужд. Блоки в береговых укреплениях были подогнаны с такой плотностью, что меж ними невозможно было продвинуть лезвие кинжала, а морские брызги, не находя щелей, оседали на поверхности белой коркой. В полнолуние весь остров сиял этой солью, как призрак свечи, поставленной в пустом доме.

Я стоял на пристани у меньшего замка и слышал, как вокруг меня говорят разом на нескольких языках. Рыцари Ордена распоряжались по-французски, слуги отвечали по-арабски и армянски, моряки с кипрских судов переругивались по-гречески, сирийские лучники перекликались смешанным наречием, в котором арамейский соединен с разговорным арабским. Сей шум разноязычия открыл мне устройство острова, показав, что здесь собрались люди из многих земель и многих судеб, связанные меж собой тем, что оказались дальше от дома, чем хотели, и ближе к врагу, чем было безопасно.

Мне выделили каморку в северной башне. Три шага от стены до стены, ниша для свечи, вделанный в камень железный крюк, на котором прежний жилец вешал что-то тяжелое. Через единственную бойницу, если встать вплотную к стене, в ясные дни открывалась на горизонте бледная полоска: ливанские горы. Я смотрел на нее иногда подолгу. Там, за морем, раскинулся мир, которого глаз достигал, а рука — уже нет.

В первое утро меня разбудил ритмичный скрип, тяжелый, деревянный. Я встал и вышел во двор. Дежурный рыцарь снимал крышку с одной из вырубленных в скале цистерн, куда собиралась дождевая вода. Он наклонялся, опускал руку, проверял уровень, выпрямлялся, отмечал что-то на восковой табличке. Потом переходил к следующей цистерне и повторял то же самое. Работал молча, сосредоточенно, словно совершая обряд, который по своей ценности был не менее важен, чем утренние молитвы. Молитва заботилась о душе, сей же обряд сохранял тела живыми.

Остров жил благодаря дождевой воде и кораблям с Кипра. Когда суда задерживались, люди смотрели на небо. Я слышал в Падуге немало хороших проповедей о том, что все упование наше должно быть обращено ввысь. Здесь это упование касалось воды, и оно было вполне практическим. Я думал порой, что и сам святой Августин Блаженный, написавший столько о томлении по небесному граду, вполне бы одобрил такой порядок молитвенных приоритетов.

Утренний скрип крышки я слышал потом каждый день, и он стал для меня ритмом острова. Скрип дерева о камень и рука, уходящая в темноту резервуара.

Через несколько дней после прибытия я попросил тамплиерского капеллана показать мне остров изнутри. Брат Жерар происходил из Бургундии. Лицо у него было выдублено восточным солнцем до цвета дорожной кожи — двадцать с лишним лет на Востоке: сначала в Акре, потом на Кипре, теперь здесь. Он принял мою просьбу молча, кивнул и пошел вперед. По моему опыту, люди, ведущие таким образом, полагают, что все нужное видно и без объяснений.

Мы прошли узкими улицами меж домами. Остров был населен задолго до тамплиеров — финикийцами, греками, арабами — и дома стояли плотно и высоко, в несколько этажей, так что над головой оставалась лишь узкая полоса неба. В некоторых окнах сушилось белье. Из одной двери тянулся запах вареной чечевицы. Где-то в глубине улицы плакал ребенок. При гарнизоне остались женщины и дети тех, кому некуда было идти с Кипра, и жизнь продолжалась в трех шагах от крепостной стены, от которой до сирийского берега — час на веслах.

Жерар показал мне цитадель: массивный прямоугольный донжон в центре острова, лабиринт узких переходов, арсеналов, складов и келий. Показал часовню — маленькую, аскетичную, с тремя скамьями и простым деревянным крестом на голой стене. Там всегда пахло воском и старой кожей, и

этот запах — запах молитвы, давно освоившейся с близостью железа — я впоследствии именовал про себя ароматом обреченного мужества. Жерар именований такого рода, по всей видимости, вообще не употреблял.

— Два священника на весь остров, — сказал он, когда мы вышли из часовни. — Ты третий.

Второй капеллан был молодой фламандец по имени Пьер — орденский капеллан, немногословный даже по меркам людей Ордена. Мы служили вместе, однако говорили мало: у нас не было общего языка достаточной глубины, чтобы разговор шел дальше богослужебных нужд.

— Почему так мало? — спросил я.

— Мы здесь воюем, — ответил он.

Ответ был исчерпывающим.

На восточной стороне острова, обращенной к материку, стоял небольшой замок Аюбидов — более древний, квадратный, тяжелый, с выщербленным основанием. Отсюда была видна полоска сирийского берега и силуэты Тартуса, откуда порой поднимался дым. У причала стояли лодки.

Здесь я впервые увидел Юсуфа. Он был немолод, широкоплеч, с темным лицом и тяжелыми руками лучника — руками, привыкшими к натяжению тетивы. Он молился — на коленях, лицом к берегу Сирии, с раскрытыми ладонями, обращенными вниз. Губы двигались беззвучно. Я остановился, глядя на него, и медленно понял, что именно в его позе меня останавливает: он молился в сторону Иерусалима. Молился

к нему, как к месту, уже существующему внутри, для которого внешнее расстояние имеет небольшое значение.

Жерар встал рядом.

— Сирийский христианин, — сказал он тихо. — Юсуф. У него была семья в Тартусе.

Больше он ничего не добавил. Я тоже не спросил — некоторые вещи теряют что-то важное, когда их договаривают до конца. Мы вернулись к цитадели в молчании.

К вечеру первого дня я уже знал устройство острова. Цитадель и часовня в центре — для рыцарей и богослужения. Малый замок и причал — для наблюдения и снабжения. Улицы между высокими домами — для всех прочих. Стены по периметру. Цистерны — для жизни. И горизонт, повсюду: на севере, западе и юге море, на востоке вдали — берег Сирии. С любой точки острова взгляд упирался в воду или в чужой берег. В Падуе глаз мог уйти вглубь улицы, потеряться в тени арки, отдохнуть на стене дома. На Руаде человек был всегда на виду — у моря, у берега, у неба, у собственных мыслей.

Я назвал это для себя обнаженностью — *nuditas* — подразумевая то состояние, которое бывает условием, а не наказанием. Так стоит человек перед исповедником.

В первую ночь я долго лежал без сна. Слушал море — оно шумело ровно и непрерывно, как человек, дышащий во сне и не ведающий об этом. Думал о Падуе, о Эремитани, о братьях, читающих сейчас вечерние псалмы в прохладном

хоре. Вспомнил дядю Гульельмо — его каморку в Каподимонте над анконским портом, его привычку молчать там, где другие объясняют. Я всегда думал, что его выбор — нищета, молчание, затвор над шумом гавани — есть отречение. Теперь мне подумалось, что, может статься, это был способ видеть мир полнее, чем видит тот, кто в нем барахтается по горло.

Потом послышался снова скрип деревянной крышки. Ночной обход. Кто-то проверял цистерны.

Я лежал на жестком тюфяке в каморке с тремя шагами от стены до стены и спрашивал себя: зачем здесь человек слова и права, на скале без воды? Ответа у меня тогда не было.

Первые недели на острове я учился жить без тишины.

В Эремитани тишина была повсюду. Она начиналась за дверью кельи, держалась в коридорах, наполняла часовню после службы. На Руаде тишины такого рода не существовало вовсе. Море шумело непрерывно, а людей было слишком много на слишком малом клочке земли. Над тобой — чужая жизнь в два этажа: шаги, голос, скрип. За тонкой перегородкой — сосед, которого не видишь, но чье присутствие ощущаешь так же отчетливо, как собственное. Я привыкал. Это требовало времени и особого рода воли — встраиваться в шум, как встраивается молитва в удары молота, и находить в этом слиянии свой порядок.

Еда была, однако та, которую имели на острове, отличалась от монастырского стола в Эремитани примерно так же,

как отличается дорожная молитва от хорового пения. Сухари, солонина, чечевица — и все это в количестве, определяемом последним кораблем с Кипра, а потому непостоянным. Постепенно я привык есть меньше, чем хотелось, и обнаружил, что это дается легче, чем можно было бы ожидать, особенно когда вокруг все делают то же самое.

Гарнизон жил ожиданием. Сие было деятельное ожидание людей, знающих, что история вот-вот повернется в их сторону, и готовящихся к этому повороту каждый своим способом. Рыцари чистили оружие. Каждый день, независимо от употребления. Морской воздух разъедает железо быстрее, чем полагают люди, выросшие вдали от воды, и потому чистка была необходимостью, обратившейся в обряд. Я наблюдал, как рыцарь сидит на камне у стены, держит меч поперек колен и работает тряпкой медленно, сосредоточенно. В этом движении было что-то молитвенное — сродни тем молитвам, что утверждают готовность, а прошения припасают на иной час.

Я думал о том, что нынешний год — тысяча трехсотый от Рождества Христова — многие в Европе встречали с особым чувством. Круглые числа имеют власть над воображением, и эта власть тем сильнее, чем темнее времена. В Падуге еще до отплытия я слышал проповеди, в которых тысяча трехсотый год представлялся как порог: одни ждали пришествия Антихриста, другие — нового излияния Духа, третьи — просто великих перемен, природы которых не умели назвать, одна-

ко чувствовали их неизбежность всеми костями. Здесь, на острове, апокалипсис был вещью вполне конкретной: мамлюкские паруса на горизонте значили куда больше, чем любое пророчество. Однако и без парусов — в скрипе цистерны, в пустом горизонте, в лицах людей, считающих воду чашами, — было что-то, что не требовало богословского толкования.

Маршал Бартелеми де Кинси ходил по стенам. Он проходил весь периметр укреплений, от малого замка у гавани до северной башни, и снова. Иногда останавливался, смотрел вниз, на основание стены, на кладку, на швы между блоками. Потом возвращался в цитадель, разворачивал карту, смотрел на нее, сворачивал. Лицо его в эти минуты было лицом человека, решающего задачу, у которой ответы имеются, только все они неточные. Я наблюдал за ним со стороны несколько дней, прежде чем мы заговорили.

Первый разговор был коротким и по существу деловым: он хотел понять, чем именно я могу быть полезен. Люди Ордена предпочитали задавать прямые вопросы — без предисловий, без той светской обходительности, которой так много в университетских кругах. Он спросил, умею ли я шифровать письма. Я сказал, что умею. Спросил, знаю ли правила составления донесений в курию. Я сказал, что знаю. Спросил, есть ли у меня грамоты с Престола. Я достал их. Он посмотрел, кивнул, вернул.

— Будешь писать донесения на Кипр, — сказал он. — И

отпевать.

Последнее слово он произнес с тем же весом, что первое. Я понял значение этой равнозначности позже.

Письма стали моей главной работой на острове. Я писал их каждую неделю — два, иногда три. Донесения магистру Ордена на Кипр: состояние гарнизона, уровень воды в цистернах, число боеспособных людей, сведения о движении мамлюкских судов у берега. Просьбы: вода, зерно, соль, лекарства для раненых с последних рейдов. Вопросы о Газане. И еще — запрос за запросом — о подкреплении, которое испрашивали осторожно, практически извиняющимся тоном, как просят о том, в чем уже в значительной степени утратили надежду. Кинси читал мои черновики молча, правил редко, подписывал без слов. Однажды, прочитав, поднял на меня взгляд и сказал: «Ты умеешь писать так, чтобы слово не теряло вес». Это был, по всей видимости, комплимент. У Кинси они были немногословны.

Через письма я начал понимать, как на острове устроена надежда. Она была рабочей, деловой — надежда как логистика, цепочка условий, которая при соблюдении всех звеньев должна привести к результату. Каждое донесение предполагало ответ, ответ содержал дату, дата была реальной, в назначенный день что-то должно было произойти. Рыцари Ордена умели хранить такую надежду, и она давала им устойчивость, которую я поначалу принимал за холодность, а потом признал особым видом мужества.

В апреле отмечали Пасху. Я служил мессу в той же часовне, при тех же трех скамьях и том же деревянном кресте на голой стене. Свечей хватило ровно на службу — последнее, береглись с Рождества. Вместо пасхального агнца была старая солонина, жесткая и темная от соли, нарезанная тонко, чтобы достало на всех. Вина для причастия едва достало на чашу священника — последнее, что оставалось с Рождества, потемневшее и кислое. Жерар развел его водой ровно настолько, насколько предписывает устав, и я подумал, что в иной год это разбавление было бы просто обрядом, а здесь стало точным образом того, как живет этот остров: всего понемногу, и все — до дна. Огонь пасхальной свечи я внес в темную часовню сам. Когда произнес «*Lumen Christi*», голос мой дрогнул от того, что в темноте передо мной стояли лица людей, ждущих Воскресения третий год подряд, а горизонт за стенами по-прежнему оставался пуст. Они пели «*Alleluia*» вполголоса — чтобы не слышали за стенами. Я никогда прежде не слышал пасхального «*Alleluia*», спетого вполголоса, и думал тогда, что, может статься, именно так оно и звучит, когда произносится всерьез.

После службы мы сидели во дворе цитадели. Кинси велел выдать каждому лишнюю чашу воды в честь праздника. Это был его пасхальный дар гарнизону. Люди приняли его молча и с достоинством, как принимают то, что дорого обошлось дающему.

В июле с Кипра пришли корабли — шестнадцать галер

под командованием короля Иерусалима Генриха. Тамплиеры, госпитальеры, кипрские рыцари. Вместе с ними — посол Газана, пизанец по имени Изол, человек с юркими глазами и латынью с итальянским прононсом, говоривший о монгольском хане так, будто лично с ним обедал накануне. Остров вдруг словно ожил — в нем появилось движение, а не ожидание движения.

Затем корабли уходили на рейды: Розетта, Александрия, Тортоса, Маракля. Мое место было здесь, при часовне и при письменном столе. Но я слышал, как меняется воздух в день отплытия и в день возвращения. Когда уходили — остров затихал особым образом, становился почти пустым. Когда возвращались — разносился шум, смех, ругань, запах дыма и крови. Раненых сносили в цитадель. Я помогал перевязывать, насколько умел, и отпевал тех, кого не донесли.

Первые похороны на море я запомнил надолго. Земли для могил на острове не было — сплошная скала. Тела сворачивали в парусину, клали камень для веса, читали отходную, и отпускали. Море принимало их молча, и в этом безмолвии было нечто, от чего невозможно было отвернуться: умерший уходил в воду, равнодушную к именам и отечествам. Я произносил слова чина и думал о том, что сия глубина есть добрая школа смирения для тех, кто привык полагать себя важными людьми. Я и сам полагал себя таковым достаточно, чтобы урок был своевременным.

После каждого рейда возбуждение на острове держалось

несколько дней. Люди говорили о захваченном добре, о мамлюкских укреплениях, о близости Тортосы. В эти дни ожидание приобретало лихорадочный привкус: вот-вот, еще немного, и монголы идут с востока, мы двинемся с моря, и тогда — Иерусалим. Но потом галеры уходили обратно на Кипр, шум стихал, и остров снова смотрел на горизонт.

Тогда же, в дни летнего оживления, с Кипра приехал магистр Ордена Жак де Моле. Я видел его мельком прежде — в Падуе, в хлопотах перед отплытием, мельком, в разговорах, когда он появлялся в тамплиерской комменде. Тогда он казался мне человеком больших планов и равной им усталости от этих планов. Здесь же усталость была куда очевиднее — в том, как он сходил с судна, как здоровался с Кинси, как смотрел на стены: взглядом строителя, уже видящего трещину там, где другие еще видят только камень.

Он привез воду, зерно, солонину, связки сухарей, пергамент для писем, лекарства. Все это выгружали четко, раскладывая по местам. Люди Ордена работали молча и сосредоточенно.

После выгрузки он поднялся на стену с Кинси, и я пошел следом — нужно было передать письма. Они стояли у северного зубца и смотрели на море. Я отдал письма, Кинси убрал их за пазуху. Де Моле повернулся ко мне, вспомнил, кто я, кивнул.

Я спросил о новостях с Кипра.

Он говорил коротко. О рейдах — несколько слов. О Газа-

не — что гонцы были, что зимой не пришел из-за холодов и бунта на востоке своих земель, что обещал к осени. О Кипре — что король нетерпелив, госпитальеры осторожничают, провизии меньше, чем хотелось бы. Потом — почти без перехода, тем же ровным голосом:

— В феврале Папа объявил Юбилей. Святой год. В Рим идут паломники со всей Европы. Говорят, их уже более двухсот тысяч.

Сами эти слова я услышал хорошо, но вот их смысл доходил медленнее — как свет далекого корабля доходит до берега уже после того, как сам корабль скрылся за горизонтом.

— Юбилей, — повторил я.

— Первый в истории Церкви, — сказал де Моле. — Бонифаций выпустил буллу в феврале. Полное отпущение грехов всякому, кто придет в Рим и поклонится у базилик. Казна уже полна.

Он произнес это без особой интонации — как сообщают рядовой факт, влияющий на расчеты: на деньги, на внимание королей, на то, куда смотрит Европа в сей год. Само событие его, по всему видно, занимало меньше, чем данные о провизии.

Кинси спросил:

— Он пришлет галеры?

Де Моле помолчал.

— Он пришлет буллу, — сказал он наконец.

Это тоже было сказано спокойно, просто как точный ответ

на поставленный вопрос.

Я стоял рядом и молчал. Внутри поднималось что-то, чему я не мог дать имени сразу. Что-то в этих нескольких словах было устроено глубоко неправильно — не ложно, а именно неправильно, как нота, взятая верно, но положенная не в тот такт. Двести тысяч паломников идут в Рим. Золото — в казне. Бонифаций — в зените. А здесь, на этой скале, семьсот с лишним человек ждут монголов, обещавших прийти в ноябре, и считают воду чашами.

Оба этих мира существовали в один и тот же момент. Я умом это понимал. Но принять просто не мог — так же, как невозможно принять, что две несовместимые вещи занимают одно место, хотя они и находятся у всех на глазах.

Я сказал себе: де Моле — человек военный, он смотрит на мир сквозь призму стратегии. Двести тысяч паломников для него — это двести тысяч людей, которые пришли в Рим, а не сюда, золото, которое стало обетами, а не флотом. Он видит политику там, где должна быть духовность. Юбилей — это торжество Церкви, знак единства христианского мира, это...

Слова в моей голове складывались стройно, в них была своя логика. И все равно что-то в них держалось непрочно.

Я промолчал и стал смотреть на море.

Де Моле пробыл на острове три дня. За это время обошел все укрепления, проверил цистерны, поговорил с Кинси о запасах и о планах на осень, когда Газан обещал прийти снова. Со мной он больше не разговаривал — надобности не

было. Уплывая, он стоял на корме и смотрел назад, на остров, с видом человека, запоминающего то, что видит, — или просто проверяющего в последний раз состояние стен. Этого я не мог сказать наверняка.

После его отплытия я долго сидел в часовне. Крест на стене. Три скамьи. Воск и кожа. Здесь не было слышно моря, ибо стены толстые.

Я думал: не может быть, чтобы Рим смотрел в другую сторону. Не может быть, чтобы все происходило одновременно — торжество там и кровь здесь. Де Моле устал, де Моле видит мир через горечь многолетней войны за деньги, которых не дают. Он понимает Юбилей как политику.

Я повторял это про себя, и слова снова выглядели стройно, и в них была своя логика. Но что-то все равно не клеилось.

Крышка цистерны скрипнула во дворе. Кто-то проверял уровень воды.

В начале сентября 1300 года на Руад пришло судно из Фамагусты.

Оно привезло припасы, воду, зерно, пергамент, несколько человек на замену выбывшим. И еще — тубус из просмоленной кожи, запечатанный двумя печатями: тамплиерской и с ключами Петра. Такие тубусы я видел прежде в доме Ордена в Падуе. В них хранили документы, которые должны были дойти нетронутыми.

Кинси вскрыл тубус в тот же день, в цитадели. Я присут-

ствовал, ибо мне предстояло составить подтверждение получения. Он извлек несколько листов, просмотрел быстро, как человек, умеющий проверять письма прежде всего на наличие имен и дат, а уже потом обращающий внимание на содержание. Один лист отложил отдельно, нашел меня взглядом.

— Здесь есть дело для тебя.

Он протянул мне лист. Я взял.

Экземпляр буллы «*Antiquorum habet fida relatio*», «Достоверное свидетельство древних гласит» — той самой, что Бонифаций провозгласил в феврале. Копия была сделана четко, хорошей рукой, с полями и киноварными заглавными буквами. Внизу стояло указание на латыни, дописанное другим пером, по-видимому уже на Кипре: гарнизону Руада надлежит ознакомиться с содержанием буллы в торжественной обстановке, ибо она касается отпущения грехов воинам Христовым. Публичное чтение поручалось мне как капеллану с папскими грамотами.

Вначале я прочитал Буллу в тот же вечер, один, при свече. Латынь курии была безупречной. «*По заслуживающему доверия свидетельству древних нам известно, что великие отпущения и прощения грехов даруются посещающим почтенную базилику Князя Апостолов в Риме...*» Далее шло подтверждение сих отпущений, их расширение и обновление, обещание полного прощания всех грехов всякому, кто явится в Рим, исповедуется и посетит базилики в должном числе

дней. И дальше — о власти «связывать и разрешать», о том, что Престол есть единственный источник таковой власти на земле. *«Мы утверждаем, одобряем, возобновляем...»*

Я читал медленно. Потом снова сначала. Булла говорила все правильно. Ни единого изъяна в цепочке доводов, ни единой слабой связки. Именно это меня и беспокоило. Она была написана для мира, в котором все именно так и устроено: Рим — центр, Папа — связующий, Церковь — тело, верующие — члены. Все на своих местах.

И все же одна мысль во время чтения родилась и никак не уходила. Я гнал ее как недостойную, однако она словно прилипла к моему уму. Отпущение грехов даруется тому, кто придет в Рим. Кто придет — принесет с собой деньги на дорогу, на ночлег, на свечи, на подношение у алтаря. Чем больше паломников, тем полнее казна. Де Моле так и сказал: казна уже полна. Я запрещал себе этот ход мысли. Спасение душ и доходы казны суть вещи разного порядка, и смешивать их есть признак ума подозрительного и мелкого. Великие дела Церкви требуют средств, и в том нет греха. И Юбилей есть торжество веры, а не ярмарка. В этом я из последних сил убеждал себя, и мне это почти удалось.

Я лежал на тюфяке, держа лист над собой, и смотрел в темноту за буквами.

В воскресенье после службы я зачитал буллу перед гарнизоном в часовне.

День выдался особенно жарким. Сентябрь на Руаде есть

продолжение лета, только уже без упования на прохладу. К девятому часу солнце стояло высоко, и камень под ногами успел раскалиться. Часовня была мала — десять шагов в длину, семь в ширину. Когда набились все, кто пришел, она стала плотной, как тесто, в котором нет воздуха.

Рыцари стояли прямо, по привычке устава. В их белые плащи, там, где они еще оставались белыми, въелась соль, уже не вымываемая. Лица выветренные, обожженные. Несколько человек со следами ран от последних рейдов, кое-кто перевязан. Сирийских лучников в часовне было немного — они молились по-своему, снаружи, у восточной стены. Жерар стоял справа у входа, сложив руки. Кинси стоял в первом ряду, прямо, без движения, глядя на крест.

Я отслужил мессу. Потом развернул лист.

*«Antiquorum habet fida relatio magnus interdum summo pontifice Romane ecclesiae thesaurum...»*

Я читал текст медленно, с положенными остановками, давая словам время осесть. После каждого значимого периода делал краткое пояснение на французском — для тех, чья латынь была школьной. Говорил о Юбилее: первый в истории Церкви, объявлен в феврале, паломники идут в Рим тысячами. Говорил об отпущении грехов: полное, распространяется на воинов Христовых, те, кто сражается за Гроб Господень, имеют особую долю в сей благодати.

Я говорил это и слышал, как слова наслаиваются на тишину часовни. Люди слушали. Ни один не пошевелился, никто

не переглянулся.

Я продолжал. Дошел до раздела о власти: Папа есть наместник Христа на земле, его право «связывать и разрешать» не ограничено ничем земным, весь христианский мир стоит под этой властью.

*«...в полноте власти Нашей, данной Нам Господом, провозглашаем и постановляем...»*

Слова были красивыми. Это были именно те слова, которые должны были быть сказаны.

И в тот самый момент я почувствовал, как что-то во мне замирает. Будто под ногой вместо твердого камня оказывается воздух.

Я читал о паломниках, идущих в Рим. Но прямо передо мной стояли люди, живущие на узкой раскаленной скале. Я читал об отпущении грехов за посещение базилик. А передо мной стояли люди, отпевавшие товарищей над морем, ибо земли для могил на острове нет. Я читал о «полноте власти», охватывающей весь христианский мир. А передо мной стояли люди, не всегда имевшие воду для питья.

Я дочитал до конца. Свернул лист.

Тишина в часовне была той же, что до начала. Никто не заговорил. Никто не спросил. Кинси по-прежнему смотрел на крест. Жерар все так же стоял у двери, сложив руки.

Я произнес завершающую молитву. Люди начали выходить.

Я остался. Стоял у аналоя с листом в руках. Часовня пу-

стела вокруг меня, и море за стенами шумело все так же ровно и безучастно.

Жерар вышел последним. Уже у двери остановился, оглянулся.

— Хорошо читал, брат — сказал он.

Речь шла о форме: о том, как голос держит ритм латинской прозы, как паузы стоят на своих местах. Прочее его не занимало. Он ушел.

Я сел на скамью.

«Хорошо читал».

Двадцать лет на Востоке. Акра. Кипр. Руад. Этот человек слышал буллы прежде меня и, возможно, будет слышать после. Он принял то, что я прочитал, так, как принимают привычный порядок вещей. Просто еще одна булла. Еще один воскресный чин. Жизнь идет своим порядком.

Но именно это и было для меня особенно невыносимым. Люди молчали согласно — спокойным, обычным молчанием людей, которых давно ничто подобное не удивляет. Мы слышим, мы принимаем. Мы давно знаем, что слова живут в одном мире, а мы сами — в другом.

Я все еще держал лист в руках. Красивая латынь. Правильные доводы. Свинцовая булла на шнуре — тяжелая, настоящая.

За этой буллой стоял человек, которого де Моле знал лично. Которому Орден писал письма о Газане, о Руаде, о нуждах гарнизона, и получал в ответ слова о будущих кресто-

вых походах и о силе Церкви. Человек, чья печать стояла на грамотах, с которыми я отплыл из Венеции, — грамотах, открывавших мне двери и дававших право говорить от имени Апостольского Престола. Я никогда не видел его лично, однако думал о нем с тем почтением, которое питает к государю человек, верящий в законность его власти. Бонифаций был для меня воплощением того, о чем я читал у Эгидия Римского: пастырь, держащий в руках и духовный меч, и порядок мира. Его буллы я изучал как образцы канонической мысли. Его твердость в споре с Филиппом Французским казалась мне священной правотой, а не упрямством. Я прибыл на Руад с его грамотами за пазухой и с убеждением, что служу делу, которое он понимает так же, как понимаю его я. Сейчас этот человек был в Риме, в зените власти, окруженный сотнями тысяч паломников, и казна его, по словам де Моле, была переполнена. Я остановил эту мысль. Де Моле просто устал от войны и дипломатии. Он видит только деньги и флоты. Юбилей — это торжество веры, это знак того, что христианский мир жив, что сотни тысяч людей...

Но мысль возвращалась. Помнят — что? Что надо прийти в Рим. Что надо приложиться к базилике. Что за это будет отпущение грехов.

А здесь помнят другое. Здесь помнят, что вода кончается, если задержится корабль. Что море принимает тела. Что монголы обещали в ноябре, а сейчас уже сентябрь, и горизонт все так же пуст.

Я положил лист на скамью рядом с собой.

Два мира. Один год. Одна Церковь, одна и та же власть «связывать и разрешать».

Я мог бы сказать: булла лжет. Это было бы дерзко и просто. Я мог бы сказать: булла права, а я малодушен. Это было бы смиренно и тоже просто. Но правды ни в том, ни в другом не было. Булла написана честно. Я служил здесь честно. И тем не менее слова, произнесенные мной в этой часовне перед этими людьми, звучали иначе, чем они звучат в базилике перед паломниками. Те же слова — но совсем иной звук. Поэтому что камень, от которого они отражаются, другой. Это было тяжелое понимание, и я не знал, что с ним делать.

Когда я вышел из часовни, солнце уже клонилось к западу. Двор был пуст. На стене у северного зубца стоял дозорный, неподвижный, как часть кладки. Со стороны гавани слышался стук — что-то чинили на причале. Жизнь шла своим порядком.

Я нашел Жерара у малого замка. Он пил воду из кружки — медленно, экономно, как пьют люди, научившиеся беречь каждый глоток. Посмотрел на меня без вопроса.

— Скажи мне, — сказал я, — ты слыхал прежде про Юбилей?

— Слыхал, — ответил он. — Когда корабли пришли с Кипра. Раньше, чем ты прочитал.

— И что ты подумал?

Жерар поставил кружку. Посмотрел на берег Сирии.

— Подумал: хорошо, что людям есть куда идти, — сказал он. — И поднял кружку снова. Разговор был закончен.

Я стоял еще немного, потом пошел к себе.

Вечером я долго сидел над чистым листом пергамента. Хотел написать письмо в Падую. Не донесение, а просто письмо. Но начало не находилось. Слова, которые я хотел написать, описывали нечто такое, чего письма не вмещают: слишком большое, слишком сложное, чересчур похожее на то, что умный человек должен держать при себе.

Я убрал лист. Задул свечу.

За стеной шумело море.

В ноябре основные силы ушли в один день. Более четырехсот человек поднялись на борт и ушли на Кипр — войска, привезенные для совместного удара с Газаном и теперь утратившие смысл своего применения на голой скале в ожидании монголов, которые так и не явились.

Поутру в гавани стояло пять кораблей, пришедших ночью с Кипра — суда, которые старались не попадаться на глаза береговым дозорам мамлюков, а потому выбирали темное время. К полудню началась погрузка. К вечеру остров покинули более четырехсот человек:

Я стоял у малого замка и смотрел, как отходят корабли.

Прощальных речей не было, торжественного построения тоже. Люди грузились деловито, в молчании: тюки, оружие, лошади на последнем судне — лошадям переход на воду не нравился, и они это показывали. Рыцарей, которых я успел

узнать за несколько месяцев — по голосам, по способу ходить, по тому, как держат кружку — я провожал взглядом, пока они поднимались на борт и исчезали. Сирийские лучники, пришедшие с Кипра на усиление, уходили своей группой, почти не оглядываясь. Среди уезжающих был и брат Пьер — его служба при гарнизоне закончилась вместе с той частью войска, которую он сопровождал. Я смотрел ему вслед и думал, что уезжал он так же незаметно, как и служил все это время — тихо, без лишнего, по уставу. На острове осталось двое клириков: Жерар и я.

Всего на Руаде осталось около шестисот человек: сто двадцать рыцарей, пятьсот лучников из сирийских христиан, четыреста сержантов и слуг — те, кому было велено держаться.

Кинси стоял рядом со мной, смотрел на погрузку. Когда последний корабль отошел от причала, он постоял еще немного. Потом сказал, ни к кому не обращаясь:

— Теперь нас достаточно.

Я не стал уточнять, для чего именно нас достаточно.

Остров опустел, и пустота стала слышна. Это странно описывать, однако было именно так. Прежде звуки острова складывались в один непрерывный шум: голоса, шаги, лязг, смех, молитва, спор, крик ребенка. Шум был столь постоянным, что я перестал его замечать, как перестают замечать морской запах через несколько дней после прибытия. Теперь отдельные звуки стали отчетливыми: шаги дозорного на стене —

невольно считаешь их. Стук чего-то деревянного о камень в гавани. Голос Жерара, читающего вечернее правило в часовне, — впервые я слышал отдельные слова.

И само море теперь будто заговорило резче. Прежде оно было фоном, теперь же стало собеседником — постоянным, негромким, но явно имеющим собственные взгляды на происходящее.

В узких улицах между домами стало свободнее. Прежде в них всегда кто-то был — не потому что шел куда-либо, а потому что деваться было некуда. Теперь я проходил и видел только камень и небо над головой — узкую полосу неба, как всегда, однако в ней стало больше воздуха.

На третий день после ухода основных сил Кинси убрал со стола в командной комнате карту.

Я видел это: зашел по делу с письмами, и карта уже лежала свернутой у стены. Он не спрятал ее, просто убрал с рабочего места. То была карта наступления — с Тортосой, с маршрутами монгольского удара, с отметками на берегу. Карта плана, который еще присутствовал на бумаге, однако уже прекратил свое существование в действительности. Вместо нее на столе остались другие бумаги: список личного состава, опись запасов воды по цистернам, перечень запасов продовольствия, расписание дозоров.

Кинси стал в основном смотреть на стены. Это уже надзор ответственности, а не надежды. Он обходил укрепления медленнее, чем прежде, с рукой на камне. Проверял швы.

Смотрел, где известь осыпалась от соли. Показывал каменщикам, что надлежит заделать. Его интерес к острову стал точным и конкретным: теперь это был не тот остров, с которого можно начать поход, а тот, который нужно удержать.

Я наблюдал за этой переменной и думал о том, что сей человек умеет перестраиваться без жалоб. Устав сказал держаться — он держится. Плана наступления более нет — он проверяет швы в кладке. Промысел Господень или человеческая воля тому причиной, сию задачу он, по всей видимости, себе не задавал.

Меня же тревожные мысли не оставляли. После ухода кораблей во мне тоже что-то переменялось. Пока гарнизон был полным, пока шли рейды и готовились донесения о движении монголов, я был занят письмами, службой, ранеными. Теперь занятость стала меньше, и то, что прежде не имело свободы подняться со дна моего ума, стало проявляться.

Слова буллы раз за разом возвращались ко мне в разное время: утром, когда слышал скрип цистерны, вечером, когда смотрел на сирийский берег. «Полнота власти». «Связывать и разрешать». «Весь христианский мир». Весь христианский мир сейчас шел в Рим, или думал о том, чтобы пойти, или слышал о тех, кто идет, и радовался торжеству веры. А здесь на скале триста с лишним человек ждали монголов, не пришедших уже дважды, и молились о дожде.

Я гнал от себя эту мысль. Она принадлежала человеку усталому, обиженному, смотрящему на великое через малое.

Церковь гораздо больше одного острова. Папа держит в уме весь христианский мир, а не один гарнизон. Юбилей есть великое дело для душ миллионов людей. Руад — это всего лишь военный форпост, один из многих, о которых пишут письма и которым выдают грамоты.

Но сколько бы я себя не уговаривал — досада не исчезала, а в горле словно стоял колющий сгусток.

Я попробовал говорить об этом с Жераром. Однако прямоты мне тогда не доставало, ибо слова, которые я подбирал, при прямом произнесении звучали бы как жалоба. Однажды вечером мы сидели в часовне после службы. Жерар чинил переплет требника — кожа растрескалась от соли, шнур вытерся. Он работал медленно, аккуратно.

— Ты долго на Востоке, — сказал я. — Ты помнишь другие послания из Рима? Другие годы?

— Помню, — сказал он, не отрывая взгляда от переплета.

— Что они писали о Святой Земле?

— Разное. — Он потянул шнур, проверил узел. — Писали, что надобно взять Иерусалим. Что пришлют деньги. Что пришлют людей. Что молятся о нас.

— И присылали?

Жерар поднял на меня взгляд. В нем была усталость человека, которому задают вопрос, ответ на который он знает давно и пересматривать не намерен.

— Иногда присылали, — сказал он. — Меньше, чем обещали. Но больше, чем ничего.

Он вернулся к переплету.

— Так оно устроено, — добавил он, помолчав. — Рим далеко. Отсюда до Рима месяц плавания, коли ветер благоприятствует. Там не видят моря. Там видят карту.

Он произнес это без осуждения, как говорят о законе природы: камень падает вниз, Рим видит карту.

Я смотрел на него и думал: сей человек давно пришел к миру с этим знанием и сделал из него условие жизни — как делают условием жизни отсутствие воды в цистернах или южный ветер, мешающий кораблям приходить с Кипра вовремя. Принял, учел и продолжает работать. Я еще не умел так.

Декабрь пришел с холодами, достаточными, чтобы ночи стали резкими, с ветром, находящим любую щель. Камень, накалявшийся за день, к утру становился студеным. Я надевал плащ поверх рясы и все равно чувствовал холод изнутри — так чувствуют его люди, которые давно едят без недостатка.

Зимние дожди наполнили цистерны. Сие была первая добрая весть за месяц. Я видел, как дозорный, проверяя уровень после ночного ливня, позволил себе то, чего прежде не позволял: улыбнулся. Улыбка была краткой и деловой, однако искренней.

Юсуф молился у восточной стены даже в дождь. Я видел это время от времени, проходя мимо. Он стоял под дождем лицом к берегу Сирии, с раскрытыми ладонями, обращенными вниз, и его молитва была такой же, как всегда: тихой,

телесной, устремленной к тому месту, которое находилось за тремя километрами воды и тысячей лет истории. Я остановился, посмотрел и пошел дальше, ощущая, что мешать здесь было бы неуместно.

В январе пришло письмо с Кипра.

Обычное деловое письмо о делах Ордена: состояние кораблей, планы на весну, просьба держаться. В конце несколько строк, дописанных другой рукой, по-видимому кем-то из канцелярии архиепископа Никосийского. Писали о разном, и среди прочего, одной строкою, словно о вещи само собой разумеющейся: в Риме продолжается Юбилей, Святейший в добром здравии, паломники не иссякают, слава Богу.

Слава Богу.

Я прочитал эту строку и остановился. Человек, написавший ее, радовался искренне. Для него Юбилей был именно тем, чем задумывался: знаком силы Церкви, торжеством веры, добрыми вестями из Рима. Он радовался так же просто и чисто, как дозорный радовался дождю, наполнившему цистерны. Два человека, каждый благодарит Бога за свой дождь.

Я сложил письмо. Передал Кинси ту часть, что касалась дел. Остальное оставил у себя.

Ночью я долго лежал без сна и все думал о письме. Думал о том, что де Моле рассказал одно, и теперь письмо из Никосии подтвердило, хотя другими словами, с другой интонацией. Де Моле я мог приписать усталость от многолетней вой-

ны за деньги. Человеку из никосийской канцелярии приписывать было нечего, кроме радости, которую он и выражал.

Значит, дело не в усталости и не в торговой близорукости. Дело в том, что с разного места видно разное, и оба видят правду. Из Падуи — торжество. С Кипра — полную казну.

Я снова вспомнил дядю Гульельмо. Он жил в Каподимонте над шумом гавани и молчал. Отец Джованни говорил однажды, что дядя молится за весь город, ибо видит его целиком, сверху. Тогда я не вполне понимал, что значит — видеть целиком. Сейчас начинал понимать. Видеть целиком — значит видеть и Рим с его Юбилеем, и Руад с его цистернами, и расстояние меж ними, которое не измеряется в морских милях. Видеть, что оба суть истинны. Что паломники в Риме истинны. Что рыцари на Руаде истинны. И что Церковь, объемлющая тех и других, тоже истинна, только объятие ее столь велико, что левая рука не всегда ведает, что творит правая.

Дядя, должно быть, видел это. И все равно молился. А я не знал, сумею ли так.

За окном было море. Холодное, зимнее, равнодушное к моим рассуждениям.

Скрипнула крышка цистерны. Ночной обход. Кто-то проверял уровень воды.

Я закрыл глаза.

В начале марта пришел очередной корабль с Кипра с водой, зерном и пергаментом. Вместе с грузом прибыли трое

новых людей для гарнизона — взамен двух умерших за зиму и одного, отправленного назад из-за не заживавшей раны. На том же корабле приплыл пизанец по имени Джакомо Пелличчи — купец, использовавший попутные военные суда для доставки небольших товарных партий на Кипр и обратно. Орден иногда брал таких людей на борт: они платили за проезд, помогали с провиантом и приносили вести из портов, куда военные суда не заходили.

Пелличчи был невысок, крепок, с руками грузчика и глазами человека, привыкшего быстро оценивать, что перед ним и сколько это стоит. Говорил быстро, по-итальянски с пизанским выговором, мне понятным без труда. По острову ходил с видом путешественника, которому некуда торопиться: смотрел на стены, на причал, на людей, отмечал все это про себя и, видимо, складывал в некий мысленный список.

В первый вечер после прибытия он сидел у малого замка на перевернутом бочонке и ел хлеб с соленой рыбой. Я проходил мимо. Он окликнул меня. Монахи, по его опыту, видимо, суть люди, с которыми удобно разговаривать: пребывают на месте и выслушивают.

— Ты здесь давно? — спросил он.

— С осени, — ответил я.

— Скучно?

— По-разному, — сказал я.

Он кивнул, пожевал. Потом сказал, с тем же выражением, с каким иные говорят о погоде:

— Я в прошлом году был в Риме. По делу — там у меня партнер, он торгует шерстью. Попал как раз в самый разгар. Я остановился.

— В Юбилей? — спросил я.

— Именно. — Он усмехнулся. — Я думал, что видел толпы. В Генуе видел толпы. В Неаполе видел. Нет, братец, то было иное.

Он отломил еще хлеба.

— С Понте Сант'Анджело людей сносило в Тибр. Напором толпы сносило, понимаешь. Городские власти в конце концов сделали одностороннее движение: одна сторона — туда, другая — обратно. Иначе пройти было невозможно.

Я слушал.

— У базилики Петра, — продолжал он, — стояли слуги с граблями. Деньги уже не помещались ни в какой сосуд, их просто сгребали в кучи. Я сам видел. Стоял в трех шагах и наблюдал, как мужик с граблями ходит туда-сюда. Как сено убирают. Только вместо сена — монеты.

Он говорил это с видимым восхищением, как о невиданном зрелище, которое поразило и запомнилось.

— Папа выходил на балкон дважды в день. — Пелличчи облизал пальцы. — Единожды в папских одеждах, в другой раз — сказывали, что в императорских. Самого я второго раза не видел, народу слишком много было. Но говорили.

Он умолк, прожевывая.

— И как вам все это показалось? — спросил я. Голос мой

был ровен.

Пелличчи пожал плечами.

— Торжество, — сказал он просто. — Великое торжество. Рим заработал за тот год столько, сколько прежде зарабатывал за десять. Хозяева постоянных дворов задрали цены вчетверо, и все равно платили. Мой партнер продал всю шерсть за три дня. — Он улыбнулся. — Хорошее было время.

Он снова взялся за рыбу. Разговор для него был окончен — рассказал, что было интересного, и довольно.

Я пожелал ему доброй ночи и пошел к себе.

Иду — и в ушах стоит: граблями. Граблями сгребали монеты у алтаря, как сено.

Пелличчи не осуждал этого. Он и восхищался не так, как восхищаются святыней, — скорее так, как восхищаются размахом ярмарки или урожаем, превзошедшим ожидания. Он видел явление, зафиксировал его и отнес к разряду замечательных, не задавая себе вопросов о том, что за ним стоит. Взгляд торговца, взгляд свидетеля, — а именно потому, может статься, и есть самый точный из возможных.

Я лежал в каморке и глядел в потолок.

Я снова проделал то, что проделывал уже несколько раз с тех пор, как де Моле сказал о Юбилее: попытался найти защиту. Пелличчи — торговый человек, он видит деньги, ибо живет деньгами. Для него базилика и ярмарка суть явления одного порядка. Сие не значит, что они и в самом деле таковы.

Однако нынче у меня было уже два голоса. Де Моле — человек войны. Пелличчи — человек торговли. Углы зрения разные, привычки ума разные, а говорят об одном.

Граблями.

Я закрыл глаза. Попробовал молиться. Слова шли, как идут они в усталости, — телесной памятью, без участия ума. Сие тоже есть вера, как привычка сердца, держащаяся и тогда, когда голова занята своим.

Через две недели после Пелличчи пришло письмо.

Из Падуи. От брата Анджело, старшего из тех, кто ведал в Эремитани текущей перепиской с другими домами Ордена. Мы с ним никогда не были близки — он был человеком порядка и отчетности, писал точно и без украшений, — однако он помнил обо мне и иногда прилагал к деловым донесениям несколько строк о жизни монастыря. Кто умер, кто приехал, как прошла Пасха.

Сие письмо тоже было деловым: вопросы о документах, о сроках возвращения некоторых бумаг. В конце — несколько строк иным тоном, более свободным, как бывает в конце письма, когда дело сделано и можно сказать что-нибудь от себя.

*«...Здесь у нас все, слава Богу, благополучно. В этом году Рим наполнен богомольцами сверх всякого ожидания: брат Томмазо ездил по делу в феврале и рассказывал чудеса — что базилики открыты круглые сутки, что народ идет со всей Европы, что сам Святейший явился народу в торже-*

*ственном облачении и был встречен с несказанным ликованием. Слава Богу за такое торжество веры в наши непростые времена. Молимся о тебе и о братьях там...»*

Я прочитал это дважды.

Брат Томмазо ездил по делу в феврале и рассказывал чудеса. Несказанное ликование. Слава Богу за торжество веры.

Анджело писал то, что думал, думал то, что чувствовал, и чувствовал радость — искреннюю, чистую, без задней мысли. Для него Юбилей был знаком того, что мир не рухнул, Антихрист не явился, что Церковь стоит, что среди войн и распрей есть еще нечто, собирающее людей воедино.

Он радовался. По-настоящему. И не ведал ничего, чему надлежало бы не радоваться.

Вот это и сломило мою последнюю защиту. Анджело был человеком моего мира, моего Ордена, моего языка. Он читал те же книги, произносил те же молитвы, мыслил теми же понятиями. Но он смотрел на то же самое — и видел торжество.

Значит, дело не в том, что люди смотрят превратно. Дело в том, что с разного места видно разное.

Из Падуи — торжество.

С Руада — граблями.

И оба видят истину.

Я сложил письмо и долго сидел, держа его в руках.

За окном был март — чуть теплее февраля, чуть больше света. Море стало светлее, переходный цвет, между серым

и синим, бывающий только в это время года. Берег Сирии с восточной стены просматривался отчетливее, нежели зимой, в воздухе было меньше пыли.

Юсуф все так же молился у той же стены. Я видел его каждое утро уже столько месяцев, что перестал замечать, и вдруг снова заметил. Стоит как всегда: лицом к берегу, ладонями вниз, губы движутся. Я не знал, о чем он молится. Знал только, что он делает это каждое утро, при любой погоде, один, у холодного камня, в виду берега, ему не принадлежащего.

Я подумал: а это что такое? Сие тоже вера? Сие тоже принимается в счет?

Вопрос был опасным, я это понимал. Вопрос о том, «принимается ли в счет» чужая молитва, есть вопрос, который богослов разрешает с большой осторожностью и в надлежащих словах, а не так — стоя у окна с письмом в руках и глядя на старого лучника у стены.

Я поднялся, убрал письмо и пошел в часовню. Не служить — просто побыть.

Крест на стене. Три скамьи. Воск и кожа.

Я сел и спросил себя честно, без лишней риторики: коли Господь видит и Рим, и Руад, и старого туркопола у восточной стены, и двести тысяч паломников у базилик — как именно Он сие видит? Что для Него имеет больший вес: число людей или что-то иное? Ответа не было. Однако вопрос был поставлен честно, впервые за все это время без защит и отговорок.

Я сидел в часовне, пока колокол не позвал на вечернюю службу. Встал, поправил свечи у аналая. Вскоре пришел Жерар — посмотрел на меня, ничего не спросил и стал расставлять остальные свечи.

После службы Жерар гасил свечи. Я смотрел, как он делает это — пальцами, быстро, без лишних движений. Двадцать лет на Востоке. Акра. Кипр. Руад. Каждый вечер эти свечи. Каждое утро скрип цистерны.

— Жерар, — сказал я.

Он обернулся.

— Тебе не кажется, что Рим нас не видит?

— Кажется, — произнес он. — Давно кажется.

— И что же ты с этим делаешь? — спросил я.

— Ничего, — ответил он. — Служба есть служба. Меня сюда послал Орден, а Орден служит Богу.

Он погасил последнюю свечу. В часовне стало темно — только лунный свет через бойницу.

— А ты сам веришь в это место? — спросил я.

Жерар взял требник под мышку.

— Верю в Орден, — сказал он. — Этого достаточно.

И вышел.

Я остался в темноте. Слушал море.

Три голоса сказали одно. Теперь это знание было у меня, и деваться с ним было некуда. Руад есть остров, восемьсот метров в длину, окруженный водой со всех сторон.

Скрипнула крышка цистерны. Ночной обход. Кто-то про-

верял уровень воды.

В феврале 1301 года на горизонте появились корабли с Кипра.

Суда торговые, с провиантом. Однако вместе с провиантом они привезли письмо, которое Кинси прочитал дважды, прежде чем поднял взгляд.

— Газан идет. Шестьдесят тысяч всадников. Уже в Сирии.

Остров снова ожил, словно в него опять вдохнули надежду. Прежде было деятельное ожидание — ожидание как работа, как дисциплина. Теперь же возникло что-то острее и горячее, даже отчасти болезненное, как поднимается вдруг из глубины вода, пробившая препятствие.

Рыцари доставали из арсенала снаряжение, которое берегли для похода: копья, арбалеты, штурмовые крюки. Проверяли крепеж, подтягивали ремни, примеряли то, что давно не надевали. Говорили громче обычного. Кто-то засмеялся в коридоре цитадели — я не слышал смеха уже много недель и потому вздрогнул, как от незнакомого звука. Кинси снова развернул карту. Я заметил это мельком, проходя мимо командной комнаты: карта лежала на столе, придавленная по углам, и он стоял над нею с видом человека, которому снова есть о чем думать.

В ту неделю люди слушали мессу иначе. Прежде я чувствовал в часовне дисциплину: люди стоят, ибо так положено, слушают, ибо так положено. Ныне же они слушали, ибо слова касались того, о чем они и без того думали. Сие разли-

чие в качестве внимания весьма ощутимо для говорящего.

В воскресенье я отслужил благодарственную службу — по собственному почину. Жерар поднял бровь, я объяснил. Он кивнул, помог расставить свечи.

Часовня была полна. Рыцари стояли прямо, как всегда. Однако глаза были другими — живее, острее, с тем особым светом, который бывает у людей, долго тренировавших терпение и вдруг получивших позволение надеяться. Я говорил о Маккавеях, о том, что правое дело держится и тогда, когда исход неясен, что Господь пользуется орудиями, которые сами того не ведают, что долгое ожидание есть тоже служение, коли держаться с умом и без уныния. Слова лились легко — легче, чем в иные воскресенья.

После службы один из рыцарей — молодой, из Нормандии, которого я знал по имени Рено, — подошел ко мне и сказал коротко:

— Весной войдем в Тортосу?

— Если монголы придут вовремя, — ответил я.

Он кивнул, как будто сего было достаточно, и ушел. В его походке была уверенность, которой несколько недель назад я в нем не замечал.

Я смотрел ему вслед и думал о том, что надежда есть вещь странного устройства. Выработать ее усилием нельзя, приказом назначить тоже нельзя. Она приходит или нет. И когда приходит — даже в столь скромном виде, как письмо с Кипра о монгольском движении, — она меняет людей быстрее

любой проповеди. Сие должно было бы уязвлять мое проповедническое самолюбие, однако я был слишком рад видеть живые лица, чтобы уязвляться.

Март прошел в ожидании деятельном и сосредоточенном. Письма с Кипра поначалу приходили обнадеживающие. Монгольский авангард под командованием Кутлушаха занял позиции у Дамаска, в Иорданской долине стоят двадцать тысяч всадников, продвижение продолжается.

Однако вскоре письма стали короче.

Я замечал это прежде, чем читал содержание. Письма становятся короче, когда сообщать становится затруднительно. Люди, излагающие добрые вести, пишут пространно, а коль приходится скрывать дурные, — пишут кратко и выбирают слова с осторожностью.

Удар последовал в мае.

Кинси прочитал письмо стоя. Положил на стол.

— Газан отходит, — сказал он.

Я стоял в дверях с бумагами, которые принес на подпись.

— Куда?

— На восток. Мамлюки ударили из Египта, у него не хватило людей удерживать Дамаск и отражать удар одновременно. Кутлушах уходит.

Он произнес это с показным спокойствием, которое бывает у людей, уже предвидящих, что именно случится, и лишь получающих подтверждение своего знания.

— Снова, — сказал я.

— Снова.

Он накрыл карту другими бумагами. Сверху лег список личного состава.

Я вышел. Прислонился к стене в коридоре. Камень был прохладен — запах соли, вечный на этом острове.

В часовне в тот день было пусто. Я зашел, сел на скамью, смотрел на крест.

Думал о Рено, о том, как он спрашивал про Тортосу. О благодарственной службе, на которой люди стояли с живыми глазами. О том, что надежда, когда она наконец приходит, вместе с тем всегда несет в себе уязвимость, ибо дает высоту, с которой потом падать больнее.

Жерар зашел позже. Увидел меня, подошел, сел рядом. Спрашивать не стал — уже знал.

— В третий раз, — сказал я.

— Да, — сказал он.

— Ты верил, что они придут?

Он помолчал.

— Я верил, что было бы добро, если бы пришли, — сказал он наконец. — Сие не есть то же самое, что верить в их приход.

Я повернулся к нему.

— Разница велика?

— Весьма, — сказал он. — Знание держится долго. Надежда разрушается с каждым разочарованием.

Он встал, поправил свечу у аналая — одна покосилась —

и вышел. Я остался.

Вечером я видел Кинси на стене. Он стоял у северного зубца, и уже снова смотрел не на горизонт и не на море, а вниз, на кладку у основания стены. Потом нагнулся, провел рукой по шву между блоками. Выпрямился.

Карты на его столе более не было. Снова остался лишь список личного состава, учет запасов воды, расписание дозоров. Остров как остров, не как плацдарм. Место, которое надлежит удержать само по себе, без надежды на монгольскую конницу и без плана наступления на Тортосу.

Никто в тот вечер уже не смеялся. Я служил вечерню, и в часовне снова стояла тишина.

Лето 1301 года было самым тихим временем на острове. Ничего не происходило, ничего не ожидалось в ближайшем времени, ничего не менялось. Дни были похожи один на другой, и я мог различать их разве что по мелочам: по тому, с какой стороны пришел ветер, сколько воды осталось в третьей цистерне, каким было небо на рассвете.

В Падуе каждый день был наполнен. Лекция, диспут, письма, братия, служба — время шло вперед, как река с течением и берегами. Здесь же время двигалось как прибой: туда и обратно, туда и обратно, без течения вперед.

Я стал писать меньше писем в Падую, ибо с каждым разом острее ощущал, что слова мои описывают мир, который тем, кто там, недоступен и, может статься, незачем. Брат Анджело отвечал аккуратно и доброжелательно — о делах мона-

стыря, о новых студентах, о ремонте западного крыла. Письма его были добросовестны и совершенно безопасны, в них не было ничего, способного задеть или потревожить. Письма из другого мира, по всем признакам хорошие, однако уже словно из иной жизни.

Я откладывал их с чувством, для которого долго искал слово. Не одиночество — на острове одиночества не было в обычном смысле, людей было слишком много. Скорее невозможность рассказать: язык, которым рассказывают о подобных вещах, еще не существовал, или я его не знал.

Мои письма тоже становились короче. Писал о деле, о здоровье, о том, что все идет своим порядком. Сие была правда, коли понимать слова «своим порядком» с достаточной широтой.

Жара в июле была тяжелее прошлогодней. Камень нагревался к полудню так, что к стенам нельзя было прислониться. Несколько человек слегли с лихорадкой — изматывающей, хотя и нетяжелой. Я навещал их, приносил воду, читал молитвы. Жерар занимался лекарствами — у него была небольшая укладка, которую он пополнял при каждой okazji.

Однажды, сидя у постели рыцаря по имени Гийом — нормандца, средних лет, с тяжелыми руками и неожиданно тихим голосом, — я услышал его вопрос, произнесенный без бреда, совершенно ясно:

— Отче, зачем мы здесь?

— В каком смысле? — спросил я.

— В простом, — ответил он. — Монголы пришли и ушли. В следующий раз то же будет. Мы это знаем. Кинси знает. Зачем мы здесь?

Я помолчал. Честный вопрос требует честного ответа, а красивого у меня не было.

— Покуда мы здесь, мамлюки знают: последний рубеж за христианами. Уйди мы — и последний бастион исчезнет.

Гийом подумал.

— Значит, мы здесь, чтобы они оставались в неведении?

— В том числе.

— Немного, — сказал он.

— Да, — согласился я. — Немного.

Он помолчал еще, потом произнес:

— Ладно...

Я думал об этом разговоре долго. Гийом спросил именно то, о чем я сам думал, — только прямее. И мой ответ был честным, однако неполным. «Чтобы они оставались в неведении» есть стратегия, а не смысл. Смысл должен быть иным. Каким именно — я тогда еще не умел сказать с той же прямоотой, с какой он спросил.

Разговор с Кинси случился в конце июля. Я не планировал его — просто оказался рядом, когда он заканчивал вечерний обход стен. Мы шли в одну сторону и некоторое время молчали, что было привычным: Кинси не заполнял молчание словами ради самих слов.

Потом он сказал, не оглядываясь:

— Ты стал писать меньше донесений.

— Меньше происходит, — сказал я.

— Сие не причина, — сказал он. — Когда меньше происходит, сие тоже надлежит записывать. Отсутствие движения есть тоже событие.

Я не ответил сразу.

— Напишу, — сказал я наконец.

Мы прошли еще несколько шагов. Остановились у северного зубца. Море внизу было темным, летним, с едва заметной рябью. Ливанские горы на горизонте были нынче отчетливы.

— Кинси, — сказал я, — ты думаешь о том, зачем мы здесь?

Он посмотрел на горы.

— Нет, — сказал он.

— Совсем?

— Совсем. Думать о том, зачем, — не мое дело. Мое дело держать остров. Устав говорит держаться. Я держусь.

— И сего достаточно?

Он повернулся ко мне. Посмотрел — внимательно, пытаюсь понять, что именно у него спрашивают.

— Для меня да, — сказал он. — Для тебя, может, нет. Сие разные вещи.

Помолчал.

— Ты человек письма, — добавил он. — Тебе надобно, чтобы слово объясняло. Мне не надобно. Я строю из камня.

Камню объяснения ни к чему.

Он произнес это спокойным голосом, как о простом различии в ремесле.

— А если камень не держит? — спросил я.

— Тогда ищу, почему не держит, и чиню, — сказал он.

Мы помолчали. Море внизу было таким же темным и тихим.

— Мне бы такую устойчивость, — сказал я.

Кинси снова посмотрел на меня.

— Нет нужды, — сказал он. — У тебя свое. Когда ты читаешь над умершими, люди держатся. Камень сего не умеет.

Это был самый длинный разговор, что у нас состоялся. После него Кинси пошел в цитадель. Он был человеком своего устройства, и устройство это держалось на вещах более простых, нежели мои, а потому и более прочных. Простота такого рода достигается не умом, а долгим трудом сердца.

В августе я написал длинное письмо в Анкону. Не в монастырь — домой, брату Джакомо, ведшему дела отца, и матери, если Господь хранил ее в добром здравии. Писал о море, о свете, о том, что на Востоке небо иного цвета, нежели в Италии. О воде и о море, принимающем тела, — не писал. Сие было не то, что пишут домой. Отправил это письмо с кипрским судном, а потом думал: зачем написал? Обеты отсекают многое, однако не отсекают потребности быть известным кому-то живому — не как монах, не как капеллан с грамотами, а просто как человек, находящийся в опреде-

ленном месте в свой час. Господь видит все и всегда — в этом нет сомнения. Однако человеку, созданному из плоти и крови, порой надобно, чтобы и другой человек знал: вот он, здесь, жив. Сие, вероятно, и есть та немощь, о которой апостол писал со смирением, а не с осуждением.

Юсуф заболел в сентябре. Та же летняя лихорадка, что прошлась по нескольким людям. Я узнал об этом поздно — он ничего не говорил, просто несколько дней не выходил к восточной стене, и я не сразу понял, что что-то не так. Я нашел его в комнате, которую он делил с двумя другими туркополами. Маленькая, тесная, с одним окном. Он лежал на подстилке, смотрел в потолок. Когда я вошел, повернул голову. Языка меж нами общего не было — достаточного для разговора. Я принес воды. Он взял, выпил. Я сел рядом, мы помолчали. Потом он сделал жест — ладонью вниз, медленно, тот самый, которым молился у восточной стены. Смотрел на меня вопросительно: ты понимаешь?

— Intellego (понимаю), — сказал я по-латыни, которой он не знал. Но он понял по тону. Кивнул.

Я достал четки и начал перебирать. Он посмотрел, достал свои — деревянные, темные от долгого употребления — и тоже начал перебирать. Мы сидели рядом и молились каждый своими словами, в тишине. Сие было, пожалуй, самое странное богослужение из всех, что я совершал на острове.

Когда я встал уходить, он сказал что-то — коротко, на своем наречии. Коротко, с той интонацией, которую и без пере-

вода читаешь верно: спасибо, приходи еще.

Я кивнул и вышел. На улице остановился. Постоял и думал о том, что сей человек молится каждое утро у восточной стены, лицом к Иерусалиму, которого никогда не видел и, по всему судя, никогда не увидит. Молится — ибо так решил сам, внутри, без принуждения устава. Вот это место, и вот это направление, и вот это каждое утро, что бы ни случилось.

Мне не доставало такой определенности. У меня было много слов и меньше уверенности, нежели я полагал, когда садился на корабль в Анконе. У него слов почти не было, и уверенность в том, куда смотреть, была весьма твердой.

Ночью того же дня я долго не спал. Думал о Юбилее, о Риме, о «несказанном ликовании» из письма Анджело, о Пелличчи с его граблями. Думал о Кинси, который чинит швы в кладке, и о Жераре, который гасит свечи. Думал о дяде Гульельмо, жившем над шумом анконской гавани в молчании, которое я прежде считал отречением, а теперь думал о нем иначе. Все эти люди обладали чем-то, чего у меня не было. Не доктриной, не ученостью, а чем-то более простым и более сложным: умением стоять, когда земля неровна. Каждый по-своему: Кинси — держась за устав, Жерар — через привычку сердца, Юсуф — в направлении молитвы, дядя — в своем молчании. Умение сие обретается не в университете и не из книг, и я уже начинал понимать, что нахожусь в правильном месте для его обретения.

Скрипнула крышка цистерны. Ночной обход. Кто-то про-

верял уровень воды — всегда кто-то проверял уровень воды, в жару и в дождь, в дни надежды и в дни пустоты. Сие тоже было своего рода молитвой, пожалуй, самой честной из всех, что я слышал на этом острове.

В ноябре с обычным судном снабжения письмо пришло — вместе с водой, зерном и несколькими тюками провизии, которых едва хватало на месяц. Судно простояло у причала меньше суток: разгрузилось, взяло письма, и ушло обратно на Кипр до темноты.

Письма разбирал я. Деловые — Кинси. Письма для отдельных людей — им. Прочее — сначала мне, потом по надобности. Среди корреспонденции был небольшой тубус из просмоленной кожи, с одной печатью — тамплиерской. Внутри — несколько листов и отдельно, завернутый в полосу чистого пергамента, предмет с весом: круглый, металлический, на шнуре. Свинцовая булла — подлинная, с оттиском апостолов Петра и Павла на одной стороне и именем Бонифация на другой.

Я развернул письмо. Латынь курии. Датирована ноябрем 1301 года, выдана из апостольской канцелярии. Суть была такова: Бонифаций VIII, Наместник Христа на земле, в силу апостольской власти своей жалует остров Руад, именуемый также Арадусом, братьям рыцарям Ордена Храма — в вечное владение, для несения ими службы Господу и защиты христианских интересов на Востоке. Со всеми правами, привилегиями и обязанностями, каковые из такого владения

проистекают. И да хранит Господь несущих сию службу.

Я дочитал до конца. Положил лист на стол, взял буллу. Она лежала в руке тяжелее, нежели ожидаешь от такого предмета. Два ключа на металле, стертые по краям. Имя Бонифация на обороте.

Я сидел с буллой в руке, и в голове медленно складывалось то, чему я не хотел складываться. Февраль прошлого года. Рим. Двести тысяч паломников. Граблями. Несказанное ликование. Слава Богу за торжество веры. Ноябрь сего года. Остров без воды, двести шагов в длину, три года в ожидании монголов, так ни разу и не пришедших до конца. Одна и та же рука Бонифация подписывала и буллу о Юбилее, и эту. Спустя год, с той же свинцовой печатью, просто по разным поводам.

Я думал: может статься, именно так устроена власть такого масштаба. Один человек держит и торжество миллионов, и судьбу горстки людей на скале, и чувствовать оба сих веса одновременно ему не дано. Сие не злой умысел. Сие просто размер и расстояние.

Из Рима до Руада более месяца морем. За это время мир успевает перемениться несколько раз. Из окна папской канцелярии виден город, полный паломников. Остров не виден. Он чересчур далеко, слишком мал, слишком похож на десятки других форпостов, которым тоже пишут письма и тоже выдают грамоты.

Я снова посмотрел на буллу. Она давала тамплиерам за-

конное право на остров, коего у них до сих пор не было — они стояли здесь де-факто, без юридического основания. Ныне основание явилось. Коли кто спросит: «По какому праву вы здесь?» — можно предъявить сию бумагу с сею печатью.

Покуда есть кому предъявлять и покуда есть кому держать печать.

Кинси зашел около полудня. Я протянул ему письмо. Он прочитал стоя, потом взял буллу, повертел в руках, посмотрел на печать, положил на стол.

— Хорошо, — сказал он.

Я ждал продолжения. Продолжения не последовало.

— Хорошо? — повторил я.

— Теперь юридически чисто, — сказал он. — Если придут и спросят — есть что предъявить.

Он взял буллу, завернул в пергамент, убрал в сундук у стены — туда, где хранились другие важные бумаги.

— Займусь северной стеной до зимы, — добавил он, уже уходя. — Там есть над чем поработать.

Я остался один и думал, что Бонифаций пожаловал нам остров. Даровал скалу без воды, где семьсот человек два года ждали монголов. Пожаловал по просьбе де Моле, который писал о Руаде и просил юридического статуса. Канцелярия подготовила документ, Папа подписал, свинец вдавили в форму. И вышло: одной рукой — торжество, другой — жалованная грамота на место, где воду считают чашами.

Я видел остров. И видеть одновременно карту и остров, не замечая разрыва между ними, мне более не удавалось. Разрыв же сей существовал давно. Наверное, всегда существовал. Из Падуи карта и остров выглядят одинаково: оба на пергаменте, оба в одних и тех же словах, оба в правильном порядке вещей. Только здесь, на острове, понимаешь, что это не одно и то же. Я думал об этом весь остаток дня.

Вечером пошел к Жерару. Он сидел в часовне — просто так, без молитвенника и без свечи, глядя на крест. Я сажился рядом с ним так уже несколько раз, и он принимал мое присутствие без вопросов.

— Папа пожаловал нам остров, — сказал я.

— Слыхал, — сказал он. — Кинси сказал.

— Ты что-нибудь думаешь об этом?

Жерар смотрел на крест еще немного. Потом сказал:

— Думаю, что лучше поздно, нежели никогда.

— Только это?

Он повернулся ко мне. В полутьме часовни лицо его было спокойным той выработанной спокойностью, которую я за эти месяцы научился читать.

— Ты хочешь, чтобы я возмутился, — сказал он.

— Я хочу понять, что ты думаешь, — сказал я.

— Думаю, — сказал он медленно, — что Святой Престол делает что может с того расстояния, с которого видит. Иногда сие совпадает с тем, что нам надобно. Иногда нет. Так было всегда, сколько я живу.

Помолчал.

— Ты сердишься, — сказал он.

— Я пытаюсь понять, — возразил я.

— Одно иногда выглядит как другое, — заметил он.

Я промолчал, ибо он был прав. В часовне было тихо — здесь всегда тише, нежели снаружи. Море за стенами шумело, однако до часовни доходило приглушенно, как дальний рокот.

— Жерар, — сказал я, — ты веришь в то, что мы здесь делаем?

Он подумал.

— Верю, что сие надобно делать, — сказал он наконец.

— Менять ли что-то в мире — того не ведаю. Что надобно делать — верю.

— В чем разница?

— В покое, — сказал он. — Кто ожидает перемен — считает и разочаровывается. Кто просто делает надлежащее — тот покоен.

Он встал. Поправил свечу — одна покосилась.

— Кинси так живет, — сказал он. — Ты думал об этом?

— Думал.

— Ты другой, — сказал он. — Тебе надобно понимать. Сие тяжелее. Но в свое время дает иное — то, чего Кинси с его камнем не достигнет.

Он вышел. Я остался в часовне один.

Церковь была велика. Столь велика, что левая рука ее не

знала, что творит правая, — не злым умыслом, а по расстоянию и огромности. Я всю свою жизнь строил веру в то, что у сей огромности есть центр, видящий весь горизонт разом. Что Папа — точка, из которой открывается все. Что если что-то идет не так — значит, люди не донесли, не объяснили, не добились.

Сие было страшное понимание. Оно отменяло один особый вид уверенности: что если я служу Церкви, то Церковь меня видит. Что если я здесь, то это кому-то ведомо и важно. Может статься, неведомо. Может статься, не важно, ибо с того места, откуда видна карта, один остров неотличим от десятков других точек.

Я же был здесь. И люди здесь были. И скрип цистерны был — каждое утро, каждую ночь.

Я взял свечу. Вышел из часовни.

На улице было холодно — ноябрьская ночь, с Сирии шел ветер. Над головой звезды, много, как всегда над морем. Дозорный на стене двигался медленно, равномерно. Из глубины острова долетали тихие голоса.

Я прошел к северной стене. Поднялся на зубец, где мы стояли с Кинси тем летним вечером. Посмотрел на море. Берег Сирии в темноте не был виден. Только вода, только звезды в ней отражались, только ветер.

Я думал: вот что я знаю твердо. Я здесь, люди здесь, скала здесь. Сие не карта и не символ. Сие место, где Гийом лежит с лихорадкой и спрашивает зачем. Где Юсуф молится лицом

к востоку. Где Кинси проверяет швы в кладке. Где Жерар гасит свечи после вечерни без лишних слов.

Рим сего не видит, но, Бог видит все.

Зима 1301–1302 года прошла в работе. Кинси держал слово: северная стена была укреплена до холодов, потом взялись за восточную — та, что смотрела на Тартус, получала больше ветра и больше брызг, и известь в швах осыпалась быстрее. Каменщиков на острове было двое, оба из сирийских сержантов, и я видел их каждое утро у стены с инструментом и известковым раствором, пахнувшим острой белизной. Кинси обходил их работу к вечеру, проводил рукой по шву, кивал или указывал на недочет. Разговоры при этом были короткие и технические.

В январе Де Моле с Кипра прислал письмо. Он продолжал рассылать призывы на Запад с просьбами об организации подкрепления и снабжения. Письмо было составлено с той же деловой твердостью, с какой он говорил на стене: перечень нужд, перечень обещаний, которые он выбивал из западных дворов, срок следующего корабля с Кипра. В конце — одна строка о монголах: планы на весну существуют, переговоры идут. Я переписал письмо для Кинси, сохранив интонацию оригинала. Кинси прочитал, убрал, велел проверить запасы соли.

Весна пришла с юго-западным ветром и несколькими днями дождей, наполнившими цистерны. Это было добро. Рено молча помогал с укреплением гавани — там, где кладка

у самой воды давала течь при волнении. Юсуф поправился после зимней болезни и снова молился у восточной стены каждое утро, как будто не было ни болезни, ни зимы.

Я писал донесения, писал письма, правил копии бумаг, нужных Кинси для переписки с Кипром. Служил мессы, а иногда сидел в часовне просто так, без молитвенника, глядя на крест. Жерар в такие минуты заходил, видел меня, не спрашивал ничего и шел готовить к вечерне — расставлял свечи, чинил что-нибудь из богослужебной утвари, которая на морском воздухе изнашивалась быстро.

Так шли месяцы.

Мамлюки у Тартуса не появлялись — только береговые дозоры, которые мы научились узнавать по парусам. Это стало частью пейзажа, как ливанские горы на горизонте и скрип цистерны по утрам. Остров жил тем спокойным ритмом, который устанавливается, когда люди перестают ждать перемен и просто делают то, что должно делать.

Я думал порой: может быть, именно это и есть то, к чему я шел все это время. Не к ответу, не к пониманию, не к примирению двух миров, которые никак не желали совмещаться у меня в голове. А к этому: встать, проверить цистерны, отслужить мессу, написать письмо, лечь спать. И повторить завтра.

Однако в начале осени 1302 года появились чужие паруса.

Я помню, как стоял на северной стене, когда дозорный крикнул — еще без тревоги, просто: паруса. Я посмотрел ту-

да, куда он указывал. Горизонт вначале показался чистым, и лишь через несколько секунд я разглядел темные точки. Далеко, почти на линии неба. Одна, вторая, третья — я считал, и счет не останавливался на привычных двух или трех, каковые были признаком кипрского снабжения. Четыре. Пять. Семь. Шестнадцать.

Сие число вошло в меня прежде понимания — как входит удар прежде боли. Шестнадцать кораблей с юга не бывают снабжением.

Кинси поднялся на стену через несколько минут. Встал рядом, смотрел долго, молча. Потом сказал:

— Шестнадцать.

— Да.

— Значит, всерьез.

Повернулся, пошел вниз. Начался остров последних месяцев.

Время изменилось. Иначе мне сие не описать. То долгое, вязкое время ожидания, в коем я жил более двух лет — время цистерн и коротких писем, время Жерара, гасящего свечи, и Юсуфа у восточной стены — кончилось в тот миг, когда я насчитал шестнадцать парусов. Началось другое: стремительное, жесткое, не оставляющее места для вопросов о смысле. Хвалю Господа, что прежде мне был дан досуг для сих вопросов, ибо теперь его не стало.

Мамлюки высадились в двух местах — на севере и на юге острова — в первых числах августа. Быстро, умело, они зна-

ли, что делают. Тамплиеры встретили их на стенах.

Первый день был шумным и кровавым: стрелы, камни, крики, запах дыма. Тамплиеры отвечали с укреплений — стены, которые Кинси проверял шов за швом все эти месяцы, держали. Мамлюки не взяли остров приступом. Они встали лагерем на берегу и стали ждать. Ночью после первого дня наступила тишина, тяжелее шума. Потом еще один день, и еще. Кинси распределил людей по стенам быстро, так, что каждый знал свое место. Северную стену он отдал под командование Гуго де Дампьера — одного из старших рыцарей гарнизона, человека немногословного и надежного, из тех, на кого полагаются без объяснений. Сам Кинси взял восточную — ту, что смотрела на Тартус и на мамлюкский лагерь.

Осада шла своим ходом — медленно, методично, как идет всякое дело, у которого есть время и нет причин торопиться. Мамлюки просто ждали, пока остров иссохнет.

Днями я спускался в подземелье башни, совершал исповедь и причастие. Поднимался на стены, говорил людям то, что мог сказать. Читал Маккавеев — сия книга говорит о стойкости без обещания земной победы, и люди слушали ее внимательнее, нежели слушают в монастыре.

Рено однажды спросил — не в первый день, позже, когда стало ясно, что помощи с Кипра не будет:

— Они придут?

— Должны, — сказал я.

— Но не успеют, — прошептал он.

Сие было утверждение, а не вопрос. Он знал ответ и искал лишь того, чтобы кто-то другой произнес его вслух. Я не произнес, ибо до конца не был уверен. Порой случается невозможное.

И они не успели. Вода кончилась прежде всего.

Цистерны, которые я считал месяцами, опустели быстрее, нежели ожидал. Осада отрезала остров от подвоза, дождей не было, и в начале октября начали делить воду чашами. Сначала раненым, потом остальным.

Я следил за распределением. Когда делит священник с папскими грамотами, труднее оспорить. Оспаривали все равно — не грубо, однако оспаривали. Жажда и голод снимают с людей все наносное, и остается то, что есть на самом деле. У большинства сие оказалось лучше, нежели можно было ожидать. Несколько человек держались хуже. Сие тоже была правда, и я принимал ее к сведению, не впадая в осуждение.

Раненых перевязывал Жерар — у него было больше опыта, нежели у меня. Я помогал. Умерших отпевал. Море принимало тела теперь чаще, и каждый раз тот же обряд над той же водой, и то же молчание воды в ответ.

Юсуф был ранен в третью неделю осады — стрела в плечо, не смертельно. Жерар перевязал. Я зашел вечером. Он лежал на подстилке в той же тесной комнате с одним окном. Когда я вошел, повернул голову.

Слов меж нами по-прежнему не было. Я принес воды —

мало, сколько мог принести. Он взял, отпил, вернул мне остаток. Я попытался отказаться, но он покачал головой: возьми. Я взял.

Мы помолчали. Потом он сделал свой жест — ладонями вниз, медленно. Ты молишься?

— Молюсь, — сказал я.

Он кивнул и закрыл глаза.

Я вышел и долго стоял в узкой улочке, держа в руке кружку с остатком воды, которую он мне отдал. Вечернее небо над головой было узкой полосой, как всегда. На стенах шла редкая, усталая уже перестрелка.

Сей ноземец отдал мне воду. Воду, которой не было.

В последние дни осады все стало проще. Исчезли все вопросы о смысле, сомнения, та долгая работа ума, которою я занимался полтора года. Осталось лишь то, что было надобно прямо сейчас. Слово у постели раненого. Молитва над умершим. Хлеб, разломленный поровну. Я думал о том, сколько воды осталось, и что сказать Рено, и как Жерар спит урывками и о том не жалуется.

О Риме я в те дни не думал. О Юбилее — тоже. О Газане — тоже. Жил только здесь, только в сем часе.

Сие был, наверное, единственный раз на острове, когда я жил вполне здесь, без половины внимания, уходившей в иные вопросы. Путь к такой простоте был у меня небезупречным.

Переговоры начались 26 сентября.

Башня держаться уже больше не могла — сие стало ясным несколькими днями прежде. Воды не осталось вовсе. Ели последнее. Раненых было слишком много, и многие из них уже не поднимались.

Гуго де Дампьер предложил переговоры. Кинси согласился. Ко мне пришли вечером — надобен был человек с папскими грамотами, человек, которого можно предъявить как знак официального статуса.

Я взял крест и вышел к мамлюкам вместе с Гуго.

Мамлюкский эмир Сайф ад-Дин Салар принял нас в шатре, не вставая. Лицо у него было лицом человека, видевшего много осад и не ждавшего от этой ничего особенного. Переводчик стоял рядом — сириец с ломаной латынью. Его условия были просты: он обещал свободный выход на кипрское судно в условленном месте и сохранность жизней. Взамен — остров.

Я стоял с крестом и слушал, как переводчик передает слова туда и обратно. Думал: слово. Они дают слово. В сем мире слово иногда держат, иногда нет. Здесь — не знаю. Я хотел верить. Я всегда хотел верить слову — такова, видимо, особенность ремесла человека, строящего из слов всю свою жизнь.

Мы вернулись. Рассказали маршалу и рыцарям. В тесноте башни воцарилась тишина, потом выдох. Не радость, не облегчение — конец напряжения, державшегося столь долго, что люди уже почти не замечали его тяжести.

Жерар посмотрел на меня.

— Веришь? — спросил он тихо.

— Хочу, — сказал я.

Он кивнул. Сей ответ был честным, и он это понял.

Утром двери открылись.

Люди выходили. Рыцари, слуги, женщины с детьми. Туркополы шли отдельной группой — их было много, я видел их лица.

Я шел среди всех, с крестом в руке.

Первые крики я услышал прежде, нежели понял, что они значат. Потом понял. Туркополов убивали на месте — всех, быстро, без слов. Слуг также. Рыцарей заковывали в цепи. Данное слово нарушали с тою же деловитостью, с какой давали.

Я стоял с крестом и не мог двинуться.

Один из мамлюкских начальников подошел, выхватил у меня из рук грамоты, сказал что-то переводчику. Тот перевел: человек закона и молитвы, пленный особого рода, не трогать.

Юсуфа я не видел поначалу в толпе. Потом увидел — уже когда все кончилось. Он лежал у стены лицом вниз. Рядом с ним деревянные четки — темные от долгого употребления. Один шарик откатился в сторону.

Подойти я не мог. Меня уже держали за плечи и вели к лодкам.

Кинси шел впереди в цепях — прямо, с тем же лицом,

что всегда: лицом человека, сделавшего все, что мог, и принимающего то, что есть. Потом его отделили от остальных, увели в другую сторону. Я разглядел только его спину. Более я его не видел.

Лодка отходила от берега. Я сидел на корме — руки свободны, крест на шее, грамоты за пазухой. Все прочее осталось на острове.

Я обернулся. Руад стоял так же, как тогда, когда я увидел его впервые: камень и стены, белая соляная корка, в полнолуние превращающаяся в призрачный маяк. Малый, голый, открытый со всех сторон. Два замка — цитадель в центре и малый замок у гавани. Узкие улочки меж высокими домами.

На стенах теперь были другие люди.

Я смотрел на остров и думал — поначалу без слов, просто смотрел — о том, что камень сей стоял твердо, и люди, жившие на нем, стояли так же. Гийом с его усталым «ладно». Жерар, гасящий свечи. Юсуф с деревянными четками у восточной стены. Рено, спрашивавший про Тортосу. Кинси, проверяющий швы в кладке. Они держались. Скала держалась.

Рим не видел острова. Монголы так и не пришли в должный срок. Данное слово было нарушено.

И все равно — держались. Кинси держался по уставу. Жерар по привычке сердца. Юсуф лицом к своему Иерусалиму. Рено потому, что иного ему дано не было. Держались — без гарантий, без обещанного плана, без того, чтобы центр ви-

дел их и помогал.

Сему я не умел дать одного слова. Не героизм — слишком громко для людей столь негромких. Не смирение — слишком тихо для людей, стоявших на стенах. Что-то меж ними: готовность делать надлежащее, когда никто не смотрит и ничего не обещано.

Лодка уходила. Остров становился меньше.

Я думал о булле Бонифация, оставшейся в сундуке у Кинси вместе с другими бумагами. Жалованная грамота на скалу без воды. Ныне скала была чужой — снова, как прежде, как была всегда, если смотреть с достаточного расстояния.

Я думал о паломниках в Риме. О двухстах тысячах людей, идущих к базиликам. О «несказанном ликовании». О том, что все это также было подлинным, как и сей остров, как и сии люди, как и деревянные четки у стены.

Два мира. Одна Церковь. Я не примирил их. Не нашел формулы, делающей противоречие несуществующим. Я просто хранил оба — как держат в руках два тяжелых предмета, когда не знаешь, куда положить ни один из них.

Может статься, в этом и был урок острова — чтобы держать вопрос так же, как Кинси держал остров: без гарантий, по уставу, проверяя швы в кладке.

Берег Сирии приближался. Над островом кружили птицы — белые, как всегда над этим морем.

Я убрал крест под одежду и сложил руки на коленях.

Меня ждал плен.

# Ступени покаяния

Порою землетрясения возвращают погребенное. Случается при этом, что они раскрывают и тайники, устроенные человеком так тщательно, что самого времени оказалось недостаточно для их разрушения.

После ноябрьского землетрясения 1980 года церковь Святого Августина при неаполитанском монетном дворе долго стояла в лесах. Камень в нескольких местах разошелся, под плитами выступила сырость, а кладка близ главного алтаря дала трещину. Во время разборки поврежденного основания археологи обнаружили там узкую полость. В ней находились и отдельные записи, принадлежащие Августину Анконскому, о которых я уже упоминал прежде, и его дневник (или, как он сам его именовал – «Реестр») – тяжелый том без названия на корешке. Кожа его почернела, дерево выгнулось, металлические застёжки проржавели. Он был одной из тех книг, которые Августин не успел или не захотел отправлять в Анкону с большей частью своих рукописей.

Переплет был поврежден сильнее самих листов. Нижний шов разошелся, и под старой нитью обнаружилась другая, почти истлевшая. Было видно, что книгу зашивали по меньшей мере дважды. Между доской переплета и кожей были помещены четыре сложенных листа. На каждом стояла одна и та же дата: 8 августа 1303 года.

Первый лист был перечеркнут двумя длинными движениями пера, наискось, от верхнего левого угла к нижнему правому и почти без нажима; бумага под чертами осталась целой. Писавший словно хотел отменить слова, сохранив возможность снова их прочесть.

Второй был разграфлен на узкие столбцы с заголовками, выведенными твердым и мелким почерком: одни клетки заполнены, другие оставлены пустыми, хотя место для ответа предусмотрено. Третий и вовсе был залит чернилами в несколько слоев, гуще всего посередине, и при боковом свете под ними различимо слово «*Margareta*». Четвертый лист сохранился целым; почерк на нем старше и словно тяжелее прочих, строки идут ровно, но последняя обрывается после двух латинских слов: *Post ignem*, – «После огня».

Края листов не совпадали. Первый был вырван из небольшой тетради, которую по бумаге и водяному знаку исследователи относили к парижским изделиям начала XIV века, второй отрезан от более плотной бумаги, какой пользовались для рабочих таблиц, третий сложен вчетверо и носил следы долгого хранения. Лишь четвертый подходил к бумаге неаполитанских тетрадей Августина. Между первым и последним лежало более двадцати лет, но все четыре начинались практически одинаково: с указания места, часа и фразы *Primum terra sonum edidit* – «земля сперва издала звук».

Во всех четырех записях упоминался один и тот же свидетель — мальчик из народа джабаля, находившийся рядом

с Августином во время этого неуказанного события. Имени его не было ни на одном листе. Августин всякий раз называл его *puer de Gebalia* — «мальчиком из джабалия». Кроме того, там встречалось имя Яхьи ибн Мансура, которое было написано полностью вместе с упоминанием некоей деревянной бусины.

Листы, очевидно, не были продолжением нескольких тайных записей Августина. Те он составлял для неизвестного будущего читателя и прятал сознательно, а в конце жизни отправил из Неаполя в Анкону. Эти же листы, похоже, вообще не предназначались никому. Они не складывались ни в какой последовательный рассказ. Первый лист был написан более чем за двадцать лет до четвертого. Второй и третий появились позднее, однако когда именно Августин собрал их вместе и вложил в старый переплет, установить было невозможно. Следы сгибов, чернил и повторного хранения показывали лишь, что к этим записям он возвращался не однажды. Кажется, что это была старая личная неудача.

Я читал об этой находке, и она пробудила во мне одно из воспоминаний о жизни Августина. Я уже объяснял, что его память доступна мне как прожитая последовательность вещей и событий: вес предмета в руке, запах комнаты, холод камня под босыми ступнями, слова, которые были произнесены, и слова, которых он не произнес. Такая память позволяет в значительной степени восстановить пропуски между оставленными им строками.

Зимой на исходе 1325 года Августина был пятьдесят один год. Он жил при королевском дворе Неаполя, а также часто бывал в обители августинианцев при монетном дворе. За его стенами шумело море, кричали носильщики у гавани, королевские гонцы поднимались от пристани к замку. Однако внутри кельи словно царил другой мир.

На его столе лежали тетради *Summa de ecclesiastica potestate*, переводы Корпуса Ареопагитик, выписки против Марсилия Падуанского и тяжелый том с защитой обложкой. В жаровне догорали оливковые угли. Чернила густели от холода, и Августин время от времени подносил сосуд ближе к теплу.

Он писал о едином источнике власти. Как свет нисходит от Бога через небесные чины, так законность должна нисходить через установленную вершину к каждому нижестоящему порядку. Множество сохраняет единство, пока знает начало, от которого получает меру. Две равные вершины производят распрю.

Эта мысль была ему привычна. Он выстраивал ее много лет и теперь лишь доводил до окончательной формы. Однако в тот вечер перо остановилось на словах о необходимом посреднике.

На левой руке Августин носил браслет, в который была вплетена деревянная бусина. Когда-то ее дал ему сарацин по имени Яхья ибн Мансур из Кайруана. Августин коснулся бусины, затем отложил перо, снял с полки тяжелый том и рас-

порол нижний шов. Три листа он положил рядом с рукописью «Суммы». Четвертый оставил перед собою чистым.

На одном и том же столе лежали лестница, которую он завершал, и память об одном утре, когда никаких ступеней не было. Он начал писать в четвертый раз.

Далее говорит он.

В Каир нас ввели через Ворота Победы. Это название — Баб ан-Наср — я узнал позже и тогда же оценил его верность. Арка сложена из тесаного камня и поднята столь высоко, что всадник под нею кажется малым; по обе стороны стоят башни, и бойницы в них глядят вниз, на входящих. Ворота эти строены для войска, возвращающегося с добычей, и в тот день назначение их исполнилось вполне, ибо добычей были мы.

Город обрушился на нас своими звуками прежде, чем мы разглядели улицы. Били в медные тазы, кричали водоносы, впереди пели, и над всем стоял запах пыли, жареного мяса, нечистот, конского пота и пряностей, столь плотный, что после двух островных лет я дышал через раз. На Руаде пахло только солью, камнем и мокрой веревкой, иных запахов там не водилось.

Рыцарям велели нести знамена перевернутыми. Я шел в середине колонны и видел, как полотнище волочится по пыли и вздрагивает при каждом шаге. Толпа улюлюкала им вслед, и в крике этом было веселье людей, вышедших смот-

реть на зрелище чужого унижения и получивших его сполна.

Брат Жерар шел впереди меня, шагах в двадцати. Я хорошо знал его спину по двум годам: он ставил ногу твердо и коротко, словно все еще ступал по неверному камню.

Затем колонну разделили. Тамплиеров и крепких сержантов повели дальше, вверх по улице, к Цитадели на холме, а меня почему-то остановили. Подошел человек в чистой одежде, спросил что-то у начальника конвоя, посмотрел в свою бумагу и указал в сторону. Двое стражей вывели меня из ряда и поставили под аркой, в тени. Я решил тогда, что меня отделили для допроса о крепости. Колонна уходила дальше, и Жерар в ней уже терялся среди прочих спин. Улица поднималась к холму, и оттуда, из-под стен Цитадели, доносился стук молотов и скрежет камня по камню: там шли работы, к которым, как я узнал после, и вели наших. Звук этот я затем слышал в Каире каждый день и научился различать его среди прочего городского шума.

Тут Яхья остановил коня. Он ехал при конвое от самой Сирии, и за долгий путь от Тортосы я говорил с ним чаще, чем с людьми нашей колонны: все силы пленных уходили на шаг, жажду и молчание, а всякий разговор о будущем скоро упирался в неизвестность. Теперь он поставил коня боком, заслонив меня от стражи, и откинул капюшон выцветшего бурнуса. Впервые за всю дорогу я увидел его лицо целиком. Он оказался молод, много моложе, чем я полагал по голосу: глубокие морщины у глаз шли от солнца, а не от лет, и через

переносицу проходил давний шрам. Я смотрел на него дольше, чем следовало, и он отвел глаза первым.

— Ну вот и все, Сиди Агустин, — сказал он на своем ломаном итальянском. — Дальше тебя поведут люди в шелках, а не в пыльной шерсти. У них перья острее моих копий. Береги голову: здесь она ценится выше, чем твоя душа.

Я едва держался на ногах. Посмотрел на стены, на арку над собою, на улицу, куда уходили наши.

— Я думал, что Град Божий — это свет, Яхья. А вижу только камни и цепи. Куда они ведут моих братьев?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.